

РУССКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ 70—80-х гг. О ЩЕДРИНЕ

I. ОТКЛИКИ НА АНКЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА» Л. Л. БЕРМАНА, Л. Г. ДЕЙЧА, В. И. ДМИТРИЕВОЙ, М. И. ДРЕЙ, П. М. ИВАНОВА, Е. Н. КОВАЛЬСКОЙ, А. П. КОРБЫ, А. И. КОРНИЛОВОЙ-МОРОЗ, Я. К. ПЕШЕКЕРОВА, М. М. ПОЛЯКОВА, И. И. ПОПОВА, А. В. ПРИБЫЛЕВА, Н. И. РАКИТНИКОВА, П. В. РОВЕНСКОГО, В. Н. ФИГНЕР, М. Ф. ФРОЛЕНКО, Н. А. ЧАРУШИНА, М. П. ШЕБАЛИНА, А. В. ЯКИМОВА и Е. И. ЯКОВЕНКО.
II. Л. Г. ДЕЙЧ. «М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН И РУССКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ».

Печатаемые ниже сообщения бывших народовольцев и других участников русского революционного движения 70—80-х гг. являются ответом их авторов на специальное обращение редакции «Литературного Наследства», предпринятое летом 1933 г. в связи с подготовкой специального номера журнала, посвященного М. Е. Салтыкову Щедрину.

В свое время Ленин, говоря о Толстом, ясно указал на тот признак, который является основным в определении гениальности автора «Войны и мира». «Если перед нами действительно великий художник, — писал Ленин, — то некоторые, хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях» («Лев Толстой как зеркало русской революции»). Ленинский критерий приложим и к Щедрину. Великий сатирик не дожил, подобно своему младшему современнику, до времени наступления первой русской революции, но он действовал на литературной арене в эпоху подготовки этой революции. Выяснить, как Щедрин — художник и публицист — воплотил в свои произведения черты исторического своеобразия эпохи собрания сил крестьянской революции — вот что, если следовать учению Ленина, является основным в определении места и роли литературного наследия Щедрина. Так поставленный вопрос может быть решен только путем анализа политического содержания щедринской сатиры, сделанного на основе ясного понимания характера русского революционного движения 60—70—80-х гг., его особенностей и движущих сил. Эта большая тема — основная тема марксистско-ленинского щедриноведения — естественно распадается при ее детальной разработке на ряд подтем. Одной из них является вопрос об отношении Щедрина к революционной практике 70—80 гг. Бесспорно, что без знакомства с отношением Щедрина к этому крупнейшему явлению эпохи невозможно исчерпывающая характеристика его литературной деятельности. Но выяснить это отношение — задача столь же трудная, сколь и важная. Царская цензура, «позволившая» Щедрину, правда эзоповски, выявить свое непримиримо-отрицательное отношение к царско-крепостническому строю, а также назревавшему капитализму, лишила его вместе с тем всякой возможности отчетливо выразить свое отношение в героической борьбе революционного народничества 70—80-х гг.

Щедрин — один из крупнейших представителей революционно-демократической литературы. Своим оружием — гениальной сатирой и публицистикой — он действовал в стане революции. Но вместе с тем литература была его единственным, хотя и грозным оружием. В жизнь он вторгался лишь пером. Членом какой-нибудь действующей революционной организации он никогда не был, свои произведения всегда печатал в легальной прессе.

Одна из черт «исторического своеобразия» Щедрина в том и заключалась, что он был легальным деятелем революции в государстве помещичье-полицейского произвола. Своей сатирой он взрывал это государство, вел непримиримую политическую борьбу с царизмом, но за пределы литературы, легальной литературы, Салтыков свою борьбу никогда не переносил. Сам он глубоко и мучительно ощущал этот разрыв между революционной мыслью и делом, между редактируемыми им «Отечественными Записками» и революционным движением, между своей литературной деятельностью и «фактами самоотвержения» как эзоповски называл сатирик героическую борьбу народовольцев. Но преодолеть этот разрыв Щедрина не было дано. Даже многочисленные издания его запрещенных царской цензурой произведений в русской подпольной и заграничной вольной печати осуществлялись повидимому без его согласия, или даже вопреки ему. В личном быту, как это показывает ознакомление с мемуарно-биографической литературой, Щедрин также почти никаких связей с революционерами не имел. Это относится и к его письмам, хотя конечно в них он был гораздо откровеннее, чем в своих произведениях для печати, почему его письма и являются столь ценным материалом не только в отношении их громадного идейного содержания, но и в отношении воссоздания политического портрета сатирика.

В свете вышесказанного понятно, почему для разрешения вопроса об отношении Щедрина к революционной практике 70—80-х гг. недостаточным является даже самое тщательное исследование высказываний самого писателя. Такое исследование не гарантирует всей полноты фактического материала, необходимого для серьезной аргументации широких выводов. Вопрос должен быть обследован и «с другого конца»: как относились, воспринимали, оценивали Щедрина сами революционеры, его современники.

Частичным осуществлением так поставленной задачи и являются собранные редакцией материалы. Мы подчеркиваем «частичным» потому, что своим обращением и самым диапазоном его распространения редакция преследовала и преследует цель собрать необходимые данные по интересующему ее вопросу о Щедрина не только от представителей трех домарксистских революционных поколений 60—70—80-х гг., но и от представителей старшего поколения — революционеров пролетарских. Завершение этой работы в ее намеченном объеме еще впереди. Здесь печатаются лишь первые результаты ее — ответы некоторых членов группы народовольцев при Всесоюзном обществе б. политкаторжан и ссыльно-поселенцев, и ответ «чайковца» Н. А. Чурушина.

Ответы народовольцев (в большинстве своем) являются авторизованной стенографической записью их выступлений на специальном заседании литературной комиссии кружка народовольцев, организованном по инициативе редакции «Литературного Наследства» для обсуждения ее обращения (сообщения были сделаны на двух заседаниях).

Ценность и содержательность печатаемых ниже документов несомненна. Перед нами ряд характеристик Щедрина, данных его современниками, непосредственными и видными участниками революционного движения. Особое значение и интерес имеет конечно статья виднейшего народовольца, компетентного члена «Народной воли» — В. Н. Фигнер. Эта статья, добавая по существу несколько новых и ярких страниц к «Запечатленному труду», является новым, глубоко ценным документом из «летописи жизни» героического революционера. Специально в отношении Щедрина статья В. Н. Фигнер представляет, по сравнению с отзывами остальных членов народовольческого кружка, также особый интерес своей дискуссионностью, своим ярко выраженным «особым мнением». Почти все участники анкеты, за исключением В. Н. Фигнер и некоторых других в той или иной форме подтвердили основной тезис обращения редакции, который был сформулирован следующим образом:

«Великий и трезвый просветитель Щедрин был далек, если говорить о его личном поведении, от подлинно активных революционных кругов русской интеллигенции; социализму и практике революционной борьбы за него, в прямом смысле, он не учил, но его сатира отрицала, ненавидела и разрушала весь окружающий строй самодержавного Глупова с его «острожной цивилизацией»... Объективно — путем злой и умной насмешки, через величайшую остроту своего обличения, через огромный пафос негодования —

Щедрин революционизировал сознание молодежи, подводил ее к идеям революции, идеям социализма.

Такая оценка политического значения сатиры Щедрина полностью подтверждается: например в первом коллективном ответе, подписанном А. В. Якимовой, М. И. Дрей, И. И. Поповым, Н. И. Ракитниковым и Е. И. Яковенко: «молодежь, — читаем мы здесь, — еще не вполне выработавшая свои социально-политические взгляды, получала от Щедрина могучие революционизирующие толчки... революционная молодежь видела в нем своего верного и постоянного союзника... бойца, боровшегося за общие с ней идеалы тем оружием, которое дал ему его мощный сатирический талант».

В статье «Щедрин и Ленин» покойный М. С. Ольминский писал: «Щедрин — прежде всего — художник. Не дело художника давать прямые советы и указания. Его область — главным образом область исследования тех психологических надстроек, которые не определяют, правда, форм классовой борьбы, но зато одухотворяют, облекают плотью и кровью личность, через которую классовая борьба получает осуществление». Этот призыв к классовой борьбе звучал, как показывает наша анкета, в сатире Щедрина для многих революционеров, в том числе и для самого Ольминского, бывшего народовольца. В той же статье например мы находим следующее любопытное признание автора: «Рассказ Щедрина («Хозяйственный мужичек» из «Мелочей жизни») заставил меня — и не одного меня — в 80-е годы очень задуматься: как народовольца. Щедрин так в конце концов ставил вопрос: «вот честный, трудолюбивый крестьянин, не кулак; но с какой стороны возможно подойти к нему для революционной пропаганды? Выходило, что ни с какой».

Ольминский не развил свою мысль, но ясно, что он хотел сказать: сатира Щедрина так выпукло, наглядно показывала классовую дифференциацию деревни, классовую борьбу в ней, что не могла не являться одним из факторов, способствующих разрушению в сознании некоторых народников их основной концепции о «сплошности» крестьянства. А это сознание облегчало для иных из народовольцев их будущий переход к марксизму.

Понятно, почему такой видный деятель народовольчества, как В. Н. Фигнер, отрицает наличие каких-либо влияний Щедрина на свое революционное мировоззрение. Здесь не только несоответствие деятельности Щедрина суровым требованиям единства слова и дела, предъявляемым практиком революции, здесь глубокое идейное расхождение. Марксистам Щедрин всегда был ближе, чем народникам, хотя в своей практической деятельности сатирик блокировался именно с народничеством. Отсюда понятно и то, что правильно в общем характеризуя революционизирующее воздействие щедринской сатиры на те кадры молодежи, из которых вырабатывались позднее профессиональные революционеры, большинство участников анкеты вместе с тем допускает ряд неправильных дискуссионных утверждений, дающих основание к неверному определению места, занимаемого Щедриным в истории русской общественной мысли. Почти всюду в ответах народовольцев Щедрин берется за одну скобку с «Отечественными Записками», Михайловским и Елисеевым, т. е. рассматривается как народник, без каких-либо оговорок и попыток определить своеобразие положения Щедрина в этом сложном и в разные периоды различного направления русской революции (исключение — статья И. И. Попова).

Редакция не входит, здесь в обсуждение этих и некоторых других ошибочных утверждений, а лишь отмечает наличие их. Частично критику этих положений в применении к данному конкретному материалу читатель найдет в заключительной части статьи Г. Е. Зиновьева «Большевики и наследство Щедрина» (о выступлении В. Н. Фигнер) Критическое изложение темы «Щедрин и народничество» в ее общей постановке (отношение Щедрина к народническим теориям) дана в статье Я. Эльсберга «Народническая легенда о Щедрине». Обе указанные статьи помещены в настоящей книге.

Следует указать наконец, что в этом же томе мы помещаем статью Л. Г. Дейча «М. Е. Салтыков-Щедрин и русские революционеры (по личным воспоминаниям)» и сообщение Ф. Витязева «Щедрин и Лавров». Обе работы, не являясь «ответами» ни нашу анкету, вместе с тем очевидно продолжают ее и дают вместе с сообщениями народовольцев интересный материал для будущего развернутого исследования на тему «Щедрин и революционная теория и практика его времени».

ОГ ЛИТЕРАТУРНОЙ КОМИССИИ КРУЖКА НАРОДОВОЛЬЦЕВ ПРИ ОБ-ВЕ ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

«Отечественные Записки» были в 70-х и начале 80-х годов любимым журналом революционной молодежи. И в каждой вновь вышедшей книжке прежде всего хваталась за стихи Некрасова, сатиры Щедрина, статьи Михайловского, Глеба Успенского, внутренние обозрения Елисеева.

Чем привлекал Щедрин молодежь и что он ей давал?

Прежде всего революционная молодежь видела в нем своего верного и постоянного союзника, сильного, наносящего ежемесячно меткие и чувствительные удары их общему врагу.

Молодежь читала и перечитывала «Историю одного города», эту яркую картину самого разнузданного российского самовластия, поддерживаемого невероятным холопством обывателя. Она училась на этих ярких картинах ненавидеть и презирать это тупое русское самодержавие и это не менее тупое русское долготерпение и рабскую покорность.

Молодежь рукоплескала неистощимым, всегда остроумным насмешкам Щедрина над либералами, над их умеренностью и аккуратностью, над их вечным приглашением «сидеть смирно и ждать», над их трусостью и половинчатостью.

Такие блестящие картины, как «Убежище Монрепо» и «Чумазый идет!» помогали молодежи отчетливее сознавать те перемены, которые нес с собою Россия буржуазный прогресс, и характер нового класса, который рос и множился по русским весям и градам. Щедрин нарисовал незабываемые картины того «прогресса», того обирательства, хищничества, разврата и попиранья личности, которые нес с собою этот класс.

В ежемесячных статьях Щедрина молодежь находила неизменно острые отклики на текущие политические злобы дня. В них доставалось и Удаву, и Дыбе, и графу Твердоонто, и всяким комиссиям препон, создающимся для борьбы с революционным движением, и диктатуре сердца, и земским «сведущим лицам». Все веяния внутренней политики находили в них свое отражение, всегда остроумное и едкое и всегда согласное с той оценкой, которую давали им и революционеры.

Молодежь ценила и любила Щедрина как несравненного социально-политического сатирика. Как бы ни увлекалась она Д. И. Писаревым, она никогда не сетовала вместе с ним, что Щедрин вместо своих сатирических писаний не занялся популяризацией естественных и социальных наук. Молодежь не искала у Щедрина выяснения теоретических вопросов, ее волновавших. Она приветствовала в нем сильного литературного бойца, боровшегося за общие с ней идеалы тем оружием, которое дал ему его мощный сатирический талант.

Молодежь, еще не вполне выработавшая свои социально-политические взгляды, получала от Щедрина могучие революционизирующие толчки; он разоблачал перед ней гнусность всяких чиновничьих карьер, к которым готовила школа, направленных в конце концов к поддержанию и укреплению самодержавного провозвала и грабежа народа Колупасевыми и Разуваевыми, он вскрывал лицемерие, пошлость и пустоту так называемых либеральных профессий (адвокатура, банки, бульварная пресса), земского и городского самоуправления,—словом, всего того, чем утешалось либеральное пустозвонство, восхищавшееся «великими реформами» и нашим «прогрессом». Под всей этой либеральной мишурой Щедрин вскрывал хищничество нарождающейся буржуазии, захватывавшей и земельное дворянство, подчинявшей и подкупавшей и нашу интеллигенцию. Всей силой своего сарказма Щедрин клеймил карьеризм, неизбежно строивший личное благополучие на грабеже народа, преследовал насмешкой все «умеренное и аккуратное» и звал к общественному подвигу на борьбу со злом, так ярко им изображенным.

А. В. Якимова, М. И. Дрей, И. И. Попов,
Н. И. Ракитников и Е. И. Яковенко

Л. Л. БЕРМАН

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин — несомненно один из талантливейших и передовых русских писателей. Его сатира, острая, едкая, вскрывавшая пошлость и ничтожество всяких «ташкентцев» и «удавов», самодурство всяких градоправителей, его сатира, пропитанная оппозиционным настроением и борьбой против реакции, была важным и существенным фактором в общественной жизни страны. Велика заслуга Салтыкова-Щедрина, велико его значение.

При всем том я не могу указать ни одного из читанных мною в молодые годы произведений Щедрина, которое бы произвело на меня такое впечатление, которое бывало бы во мне такие чувства и мысли, как например «Подлиповцы» Решетникова. Тут очевидно дело не в талантливости авторов, а в чем-то другом. Если я сопоставляю произведения Щедрина, в отношении влияния на меня, с произведениями и не беллетристического характера, с работами П. А. Лаврова, Н. Г. Чернышевского, Н. К. Михайловского, то опять-таки я должен сказать, что и «Письма к тетеньке», и другие произведения Щедрина для моего духовного мира, который тогда складывался, не имели того значения, как например «Исторические письма» Лаврова.

С интересом и увлечением читал я Щедрина. Его отклики на разнообразнейшие злобы дня, яркие образы представителей разных слоев общества с их карьеризмом, тупостью, хищническими инстинктами были великолепной иллюстрацией к тем мыслям и чувствам, какие я получил, какие я выносил из других источников. Лично я не в произведениях Щедрина находил ответы на все то, что больше всего в то время меня занимало и волновало и что определило мой жизненный путь.

В эпоху глухой реакции, в эпоху безгласности, молчания общественных групп, в тоске по моральной поддержке Щедрин спрашивал «Где ты, читатель?» и просил: «Откликнись». Плохо отзывался читатель в свое время, и только через 45 лет после смерти Щедрина стали слышаться отклики читателей.

Н. Я. БЫХОВСКИЙ

Из русских писателей-художников слова наиболее революционизирующее влияние на меня имели Глеб Успенский и Салтыков-Щедрин. Успенский будил совесть, не давая ей спокойно примиряться с окружающей гнусной действительностью, с царящим диким произволом, с темной трудовой масс, всячески охраняемых от проблесков света угнетателями и эксплуататорами этих масс, с свиной жизнью самодовольной обывательщины, не желающей видеть ничего кроме своего корыта и не знающей никаких других принципов кроме «моя хата с краю...» Салтыков-Щедрин не только сарказмом своей хлеставшей сатиры, но и своими художественными произведениями вызывал презрение, злобу, гнев и ненависть ко всем устоям этого омерзительного порядка вещей. А из этого вырастала непреодолимая потребность беспощадной, самоотверженной, непримиримой борьбы против этого ненавистного порядка, против всех гнилых устоев его до полного их уничтожения.

Со многими произведениями Салтыкова-Щедрина я познакомился еще в ранней юности. Впоследствии, в зрелом возрасте, я много раз перечитывал их с неослабевающим интересом.

Наиболее революционизирующее влияние на меня имели те сатиры Щедрина, которые были направлены против существовавшего самодержавно-полицейско-бюрократического государства. Ведь не было ни одного уголка этого прогнившего политического строя, где под яркими лучами щедринской сатиры не обнаруживались бы миазмы гниения и мерзость запустения. Хотя писателю приходилось, развивая эти темы, прибегать к наибольшей маскировке, к максимальной изощренности в использовании эзоповского языка, но и мы, читатели, ведь тоже изощрялись в стремлении понять истинные и сокровенные мысли сатирика. Кроме того самые персонажи «володевших и правивших нами» были настолько типично изображены Щедриным, настолько глубоко верно

психологически была постигнута им вся внутренняя сущность их мировоззрения и их система политического порядка, что для нас это ведь были реальные личности живой осточертелой повседневной действительности. Любая губерния, любой уезд имели своего Угрюм-Бурчеева, Твердоонто или своего Бородавкина, не только считавших излишними какие-либо уставы, стесняющие градоначальников законами, но и проводивших это на практике. Для нас эти имена были синонимы, ходячие понятия. И мы всеми фибрами нашего существа ненавидели этот политический строй, державшийся на тирании, на удушении свободной мысли тупой и грубой силой, устанавливавшей «благонамеренное единомыслие» в стране, беспрекословное повиновение и послушание начальству.

Кроме легального Щедрина был еще нелегальный Щедрин, — были те произведения его, которые не были пропущены цензурой и ходили по рукам как нелегалщина. Моя юность прошла в провинции. Помню, что у нас по рукам ходили размноженные гектографом большие купюры, сделанные цензурой из разных произведений Щедрина. Запрещенную же цензурой сказку «Вяленая вобла» («Мала рыбка, а лучше большого таракана») я еще в юности сам размножал на гектографе. Мы зачитывались этой глубоко меткой сатирической сказкой, в которой рассказывалось, как вобла стала благоразумной и благонамеренной после того, как ей высушили и выветрили мозг, как легко и волготно стало ей жить без мыслей, с одним только житейским правилом: «Уши выше лба не растут». Неоднократно в нашем радикальном юношеском кружке учащихся средней школы мы читали и перечитывали эту сказку. Сентенции и афоризмы этой воблы с выветренными мозгами стали для нас поговорками и запомнились на всю жизнь. Сказка Щедрина «Орел-меденат» в свое время тоже была нелегальной и была очень популярна среди нас, учащейся радикальной молодежи. Ходила по рукам как нелегалщина и фотография, изображавшая Салтыкова-Щедрина, окруженного змеями с высунутыми жалами. Среди этих гадов были кажется и жандармы, и цензура, и реакционные удавы из «Московских Ведомостей» и «Нового Времени», и разные другие носители и служители гнета и мракобесия. Фотографию эту кто-то из наших юных фотографов-любителей переснял, и она продавалась за деньги, которые шли потом на революционные цели. В более позднее время, чуть ли не до первой революции 1905 г., эта фотография продолжала распространяться как нелегалщина рядом с фотографией, изображавшей социальную пирамиду буржуазно-капиталистического строя, с photographиями народовольцев-шлессельбуржцев и др.

Легальный Щедрин также заменял нередко нелегалщину, особенно если последней было недостаточно. А нелегалщина всегда ведь была дефицитной продукцией, особенно до конца 900-х годов, когда революционное движение стало уже широко массовым. При занятиях с рабочим кружком в Кишиневе мне лично приходилось пользоваться легальными сказками Щедрина. Ядро этого кружка составляли рабочие металлисты Гаманюков, Светковский и Вассер, впоследствии ставшие активными революционерами. Читали мы сказки «Премудрый пискарь», «Карась-идеалист», «Бедный волк», «Повесть о том, как мужик двух генералов пролормил», «Коняга» и другие. Помню, что наибольшее впечатление произвела сказка «Карась-идеалист». Они были в восторге от этой сказки и сами потом не раз перечитывали ее вместе и в одиночку. Тут настолько ясен был истинный смысл этой сказки, что даже не требовались мои комментарии. Особенно приводила их в восторг меткостью и образностью сцена разговора карася с щукой в присутствии головя, охранителя порядка, дающего возможность щукам лакомиться карасями. Стараясь убедить щуку в несправедливости разбоя и насилия, карась говорит, что он верит в торжество справедливости: «Сильные не будут теснить слабых, богатые — бедных... Всякий для всех и все для всякого, — вот как будет. Когда мы друг за дружку стоять будем, тогда и подкузьмить нас никто не сможет... Все друг от дружки, от общих взаимных трудов»... Обращаясь к головью, щука спрашивает: «Как по-настоящему такие речи называются?» и получает быстрый и лаконичский ответ: «социализм, ваше степенство»... На это щука угрожающе изрекает: «Так я и знала. Давнько я уж слышу: бунтовские, мол, речи карась говорит». Эту сцену рабочие нашего кружка чуть не наи-

зусть знали. Ведь надо принять во внимание, что это была эпоха гнетущей реакции, когда в легальной литературе о социализме заикаться нельзя было. А в этой легальной сказке с поразительной образностью и меткостью фактически ставились все точки над «и». Вообще этой сказкой приходилось очень часто пользоваться пропагандистам того времени. Большим успехом при пропаганде пользовалась также сказка «Коняга», непревзойденная по глубине сострадания к вечному труженику земли, на долю которого достаются только муки и страдания, и столь же глубокого презрения к Пустопясу-барину, не знающему никакого труда и живущему припеваючи. Другие легальные сказки Щедрина тоже сослужили немалую службу для пропаганды революционных идей, не говоря уж о нелегальных сказках, как «Вяленая вобла» и «Орел-мещенат», о чем упоминалось уже выше.

Перечитывать Щедрина мне приходилось обычно во время тюремного досуга. При одном из моих тюремных сидений под следствием в провинциальной тюрьме в 90-х годах невежественные и тупые жандармы всячески ограничивали выбор книг, доставлявшихся мне в тюрьму, судя об этих книгах только по заглавиям. Как только заглавие казалось им подозрительным по части благонамеренности, книга не пропускаясь ими. Приходилось даже воевать за пропуск в тюрьму «политической экономии», так как заглавие это пугало невежественного жандармского полковника, не знавшего очевидно, что наука эта преподается в наших университетах. Наложив запрещение на «Политическую экономию», он благосклонно разрешил «Благонамеренные речи» и «Сказки» Щедрина. Я и товарищи мои, сидевшие тогда в этой же тюрьме, много смеялись по этому поводу. Провинциальным жандармам было невдомек, что подлинная крамола была именно в этих «Благонамеренных речах» и «Сказках» Щедрина, а также в других его книгах, а не в скромном учебнике политической экономии.

Были у Щедрина читатели и почитатели и в том лагере, который был наиболее ненавистен ему, что не мешало им впрочем оставаться в этом лагере. Как курьез, характерный в известной степени для тех теперь уже далеких времен, можно привести следующий факт.

Во время моей первой ссылки в Сибирь я был поселен в Тунке Иркутского округа и находился здесь под наблюдением «недреманного ока» — местного полицейского пристава Сементовского. Недоучившийся гимназист или семинарист из мелкочиновничьей семьи, он оказался страстным поклонником Щедрина и великолепно знал все произведения его. Он цитировал наизусть целые страницы и знал чуть ли не все крылатые слова и афоризмы Щедрина и его персонажей. В разговорах со мной и с другими политическими ссыльными он либеральничал, награждал начальство свое и весь существовавший политический порядок щедринскими эпитетами, награждал этими эпитетами и афоризмами и свои собственные полицейские функции. Это не мешало ему однако весьма исправно выполнять эти функции. Когда я однажды отлучился «самовольно» на короткое время в Иркутск, он «по долгу службы» счел нужным сообщить об этом высшему начальству, за что я получил тогда несколько дней ареста. В разговоре со мной по этому поводу он, как бы извиняясь, сказал: «Что ж, ничего не поделаешь, мы все под недреманным оком. Вы под моим недреманным оком, а надо мною тоже есть недреманное око, да и сам царь тоже под чьим-нибудь недреманным оком. Мне конечно тоже неприятно было доносить о вашей отлучке. Но, знаете, в нашем положении «ежели лишние мысли и чувства без нужды осложняют жизнь, то лишняя совесть и тем паче не ко двору», закончил он афоризмом вяленой воблы.

В. И. ДМИТРИЕВА

Имел ли Щедрин революционизирующее на меня влияние?

Да. Несомненно имел.

И вот как это было.

Вспоминается мне темный, запаутиненный чердак в дедушкином доме. А на чердаке среди разного старого хлама — узкий, длинный ящик, битком набитый какими-то толстыми книгами в тяжелых, кожаных переплетах, с разорванными и растрепанными старыми журналами и другими бумагами. Откуда все это взялось у дедушки — неизвестно, но мы с братом в поисках чтения скоро добрались до ящика и, когда нам удавалось ускользнуть от надзора, с наслаждением рылись в бумажной рухляди.

Мне в это время было 13 лет, но я уже вела дневник, читала все, что попадалось под руку, воображала себя Нечочкой Незвановой и таила в душе глухой протест против темной и жуткой деревенской жизни, какую вели мы все.

Ну жели так будет всегда? И наши дяди Федоры, тетки Катерины, двоюродные братья и сестры, Сони, Политки, Орси, все, все мы — навеки обречены жить в своих темных, закопченных хатах, летом от зари до зари мучиться на полях и гумнах, а зимой гулять на свадьбах, пить водку и драться на кулаках. И нет никакого выхода. И никуда не уйдешь дальше кладбища за селом, где улеглось уже многое-множество завьяловцев, где придется лежать и нам.

Отчего это так? Кто виноват в том, что мы живем, как мыши в мышеловке? И разве нельзя уйти от завьяловщины и как-нибудь по-иному устроить свою жизнь?

Такие вопросы все чаще и чаще волновали меня. Ответа на них не было, нападала гнетущая тоска, даже лес, широкий, многоводный Хопер, деревенские игры и забавы не могли ее рассеять. Только книги, одни книги уносили мысль в другой, просторный и светлый мир, отвлекали от сереньких будничных переживаний, давали новые, волнующие и яркие впечатления. Но и книг было мало, да дедушка и не любил, чтобы мы много торчали над книгой, и поваркивал на нашу мать, что она избаловала нас, не приучает к полезному делу.

Одно прибежище был чердак: забьешься в самый темный угол, никто не видит, никто не мешать читать, писать и думать. Толстые кожаные книги оказались «Историей Петра I» — не помню какого автора, но меня они не интересовали. Но вот однажды с самого дня ящика я извлекла целую кучу разрозненных, пожелтевших книжек «Современника», разных брошюр и отдельных изданий. Мое внимание привлекла небольшая книжка, по углам обведенная мышами, — «Губернские очерки» Н. Щедрина. Отряхнула ее, стала читать. Сначала показалось скучновато... но чем дальше, тем больше я втягивалась в жизнь города Крутогорска, и наконец передо мною развернулась такая потрясающая картина нашего общего русского бытия, что уже не смутная тоска, а ужас и злость переполнили мою душу. Сразу как-то определилось, оформилось и приобрело реальную установку всегда жившее во мне чувство глухого протеста, вспомнились слышанные в детстве страшные рассказы о крепостном праве, сам собою явился прямой и жесткий вывод:

«Вся Россия такая. Везде гадость, мерзость, насилие, несправедливость. Наверху кишат Порфирии Владимировичи, Хрептюгины, Налетовы, хищники, взяточники, убийцы, подлые, жадные, наглые... А внизу — забитая, несчастная крестьянская масса, которую приравнивают к стаду, грабят, бьют, презируют, лишают всяких человеческих прав». Я уже читала раньше и «Записки охотника», и «Мертвые души», но нигде, ни у Тургенева, ни у Гоголя, русская действительность, русская правда жизни не была так ослепительно ярко освещена, как у Щедрина. Мало сказать — ярко; нет, — грубо-обнаженно, злыми, вьедчивыми, неизгладимыми мазками изображены все язвы, все гнойники, которыми тяжело больна наша бедная страна. В «Записках охотника» крепостнические сцены и типы как бы подернуты мягкой поэтической дымкой, сквозь которую еле-еле можно уловить грубые контуры отвратительных проявлений власти человека над человеком; там даже порка изображена в тонко юмористических и беззлобных звуках, доносящихся до помещичьего балкона из конюшни: «чики-чики-чик, чики-чики-чик». У Гоголя и того нет: сцена загромождена гориллами, удавами, гизнами, и из-за их рыканья не слышно стонов и воплей пожираемых ими жертв. А у Щедрина...

Смелой рукой он сдирает все поэтические дымки и покровы с окровавленного, кнутом иссеченного лица России и воочию показывает всем, на чем держится законный и незыблемый порядок государства русского.

Порка, розга, кулак, шпицрутены, узаконенный грабеж, наглое самодурство, бесшабашный произвол—все испытанные орудия самодержавного строя безотрадно вскрыты были на страницах этой драной, изъеденной мышами книжечки, этого взрывчатого снаряда, скрывшегося под скромным заглавием «Губернские очерки».

Кое-что врезалось в память и ярко до сих пор.

«У мужика на то и зад создан, чтобы его драть».

«Все законы так оформованы, что у каждого есть природное желание руками в морду тыкать».

«Надо было одного высечь, а высекли другого—просто именно потому, что он не протестовал».

А взяточничество! Не только Хрептюгины и Добровы, приказные и торгаши, но и так называемые «интеллигенты» норовили обобрать мужика при случае. Вот например доктор, который заставляет мужика снимать сапоги, «зная, что они у него все равно, что ломбард». Или вот еще такое наглядное надувательство: «Привезет тебе, бывало, мужичек овса кулей с десяток или рогожи сот пять, ну и свалит, а за деньгами, мол, приходи через неделю. Придет, а ему: «знать ничего не знаю, ведаť не ведаю, и не видал тебя никогда...» Уйдет, бедняга, и управы никакой нигде не найдет...»

Так кулаки обжуливали мужиков, а вот как само начальство поступало с кулаками, об этом рассказывает коммерсант по лесной части. «Надо провести плоты, требуется разрешение. А чтобы его получить, давай угощение. А не подашь—за бороду тебя норовит ухватить. А онамеднись—пили, пили шимпанское, кажись ничего не жалел, чтобы глотку его поганую залить, так ему мало этого... Вздумал: давай теперича реку шимпанским поить. Я было ему в ноги: помилосердствуй! И слушать не хочет! «Шимпанского! Дюжину! Мало дюжины, цельный ящик давай, а не те твои плоты сейчас законфескую, и пойдешь ты в Сибирь гусей пасти... И дал...»

Прочла я эту драную, заброшенную книжечку и спустилась с чердака с другими чувствами, с другими мыслями. Ведь других учителей у меня не было, никто не говорил, отчего так скудна и страшна наша жизнь, а тут воочью показано, кто наши враги, отчего мы так бедны, забыты и унижены, с кем надо бороться, кого истреблять...

Уже в гимназии потом я прочла «Историю одного города», читала «Вперед» и другие нелегальные издания, которые углубили и оформили мое революционное настроение; но никогда не могла забыть того ошеломляющего, я бы сказала огненного впечатления, которое произвели на меня «Губернские очерки» неведомого для меня тогда Н. Щедрина. Впоследствии я узнала, что под этим скромным именем скрывался тверской помещик, бывший вице-губернатор и губернатор, действительный статский советник М. Е. Салтыков, знаменитый писатель и руководитель знаменитых «Отечественных Записок», острого пера и злой сатиры которого боялись даже царские сановники и министры. Но это обстоятельство нисколько не умаило в моих глазах его значения; пусть он был не революционер, а либеральный интеллигент; для меня все-таки он навсегда остался Н. Щедриным, автором «Губернских очерков», в своей горькой и жгучей сатире показавшим всему миру отчаяние и зло русской жизни. Этого из истории общественного движения в России вычеркнуть нельзя.

П. М. ИВАНОВ

Я тоже принадлежу к тем, которые издавали нелегально и распространяли «Сказки» Щедрина. Должен отметить, что Щедрин оказывал революционизирующее влияние на окружающую молодежь в том смысле, что мы понимали Щедрина как нашего легального помощника, как старшего товарища; мы вели с помощью произведений Щедрина антиправительственную пропаганду.

Оносительно выступления В. Н. Фигнер по поводу Щедрина и ее сравнения народольческого периода эпохи Первого Исполнительного комитета с более поздним народольческим я могу сказать, что конечно той нравственной высоты, той ясности и четкости в постановке революционного дела, которыми обладал Исполнительный коми-

тет партии «Народной воли», мы, народолюбцы последующего периода, не имели и не могли иметь, потому что мы искали лозунга, под которым можно было бы объединить разрозненные революционные силы. Мы считали, что борьба при помощи террора есть вопрос тактики, но для осуществления такой тактики мы не обладали той беззаветной жертвенностью, которой обладал Исполнительный комитет партии «Народной воли» и для выработки которой для истории нужно было время, чтобы опять могли развиться такие революционные силы.

Е. Н. КОВАЛЬСКАЯ

Мне приходилось пользоваться Щедриным с большим успехом, читая в кружках, организованных мною среди юной учащейся молодежи и среди рабочих. Бичующая сатира пробуждала критическое отношение к существующему строю, к быту правящих привилегированных классов, подрывала традиционную непогрешимость царя, власти вообще («История одного города», «Помпадуры»), дискредитировала либерализм (сказка «Либерал»), толкала на действительный революционный путь. Когда приходилось читать одновременно Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», Некрасов вызывал подавленное настроение, Щедрин — боевое, протестующее.

А. П. КОРБА

Если мысленно вернуться к старым временам конца царствования дома Романовых, то невольно вспоминается фигура Салтыкова-Щедрина и проявления его буйного литературного таланта. Михаил Евграфович хорошо изучил склонности и свойства русского народа, безошибочно оценивал его гений. Отсюда ненависть Михаила Евграфовича к угнетателям и эксплуататорам народных сил и способностей, к лицам, ставившим искусственные преграды проявлению положительных качеств населения в монархической России.

В одном из моих маленьких очерков я описала свое посещение конторы «Отечественных Записок» для свидания с Кривенкой и Михайловским. Это было в то утро, когда жители Санкт-Петербурга впервые узнавали из утренних газет, что бывший министр народного просвещения Толстой назначен министром внутренних дел.

Мы еще не знали этой новости, и все трое мы были очень удивлены шумному появлению Михаила Евграфовича. Он шел по маленькому коридору, соединявшему частную его квартиру с конторой редакции, шумными и тяжелыми шагами и рычал, как раненый лев. Мы все трое обратили взоры на входную дверь, из коридора. Михаил Евграфович появился в ней, держа в руке номер «Правительственного Вестника», и первые его слова были: «Читали, читали?» и на отрицательный ответ моих собеседников он прочел высочайшее повеление, грузно опустившись в кресло. От ярости он был вне себя. «Как,—кричат он,—этого тюремщика, который своим дурацким классицизмом отправил десятки юношей на тот свет, а теперь всю Россию закует в кандалы бесправия и повиновения!» И после краткого молчания и еще громче он кричал: «Ошибутся! Слишком рискованная игра не ведет к выигрышу! Как бы им не проигратся!»

Салтыков тогда уже был убежден в том, что революционный взрыв неизбежен в России. Слишком безумно было правительственное самоуправство и слишком тяжел гнет, который испытывали на себе трудящиеся массы и трудовая интеллигенция.

Он верил в будущую и при том близкую революцию, и даже великосветские дамы, которых он изображал в «Письмах к тетеньке», восклицали в смущении, хотя по-французски: «Мы танцуем на вулкане».

Эта уверенность Михаила Евграфовича действовала неотразимо на его читателей и приобретала ему друзей и почитателей во всех слоях населения.

А. И. КОРНИЛОВА-МОРОЗ

Я начала с увлечением читать Щедрина с 18-летнего возраста, когда в 1872—1873 гг. в «Отечественных Записках» помещались его очень интересные «Благонамеренные речи». Мы получали книжки «Отечественных Записок» и бросались на статьи Щедрина и Михайловского,—это были самые излюбленные писатели у нас. Между прочим была тогда одна глава из этих «Благонамеренных речей» Щедрина под названием «Переписка». Это—переписка молодого прокурора с маменькой. В письме прокурор говорил о том, как он счастлив в своей деятельности. Его призвал генерал и поручил ему вести дело арестованных 15 человек. Он в патристическом и служебном восторге берется за это дело, которое у него разрастается: с 15 человек обвиняемых у него вырастает число это до 85. В одном из своих писем маменьке он пишет, что это—люди очень хитрые: они заявляют, что занимаются созерцанием гармонии будущего. Дело все больше разрастается, но в конце концов генералу сно надоедает; ему становится скучно, прокурором он недоволен, и все это дело он прекращает. Эта статья Щедрина была помещена в ноябрьской книжке «Отечественных Записок» за 1873 г., а 5 января 1874 г. я была арестована. На одном из допросов я высказалась, что считаю неправильным предлагать мне вопросы о знакомствах, ибо, если люди, о которых меня спрашивают, занимаются только созерцанием гармонии будущего, то ведь это не есть преступление. Жандарм тогда не понял этого намека, но на следующем допросе он заявил: «Что же вы «о перенесении бедствий настоящего» умолчали?» И вот после этого меня переводят в Коломенскую часть и лишают свиданий. Очевидно жандармы догадались относительно смысла моей фразы на предыдущем допросе и это им очень не понравилось. Когда я была освобождена, мы с сестрой занимались доставкой книг заключенным по большому процессу. Самое большое требование было на журнал «Отечественные Записки». У нас уже было три экземпляра его, которые ходили по тюрьме, но этого было недостаточно. Нам нужен был еще один экземпляр. Мне сказали, что я должна обратиться к Щедрину, что он выразил желание, чтобы к нему пришел кто-нибудь из лиц, которые соприкасались с тюрьмой. Я явилась в редакцию «Отечественных Записок». Кто-то из членов редакции сказал мне: «Вон там в углу стоит стол, за ним сидит Щедрин». Я робко излагаю ему свою просьбу. Он глядит на меня исподлюбья и говорит: «Ну, хорошо, только без доставки». Я ему ответила, что мы и так получаем три экземпляра тоже без доставки. Очень сильное впечатление произвело в политической ссылке закрытие этого журнала. Мы были тогда в ссылке в Томске и нас это закрытие всех очень огорчило, так как мы придавали большое значение этому журналу.

П. К. ПЕШЕКЕРОВ

Для нас, молодых революционеров конца 70-х и начала 80-х годов, Щедрин был одним из тех писателей, которые оказали громадное влияние на наше развитие вообще и формирование нашего политического мировоззрения в частности.

Его глубокая сатира вскрывала и бичевала рыцарей насилия, бесправия и произвола того самодержавно-крепостнического строя, с которым мы вели беспощадную борьбу. Ни одно мало-мальски серьезное явление тогдашней действительности не могло укрыться от метких стрел сатирика, и сатира Щедрина была по содержанию так же разнообразна, как разнообразна была сама жизнь...

Редактируемый им журнал «Отечественные Записки» был лучшим из журналов радикального направления того времени, и я живо помню, с каким нетерпением мы, молодежь, ожидали всякий раз выхода очередной книжки журнала и с каким трепетным волнением набрасывались на чтение статей любимых авторов и в особенности сатирических очерков Щедрина, появлявшихся неизменно из месяца в месяц в каждой книжке журнала.

Правда, при чтении его очерков мы не ощущали того боевого подъема духа, который вызывало у нас чтение подпольных изданий «Земли и воли», «Народной воли» и дру-

гих революционных изданий агитационного характера того времени. Но его бичующие современные порядки сатирические очерки, поддерживая в нас чувство негодования и ненависти к этим порядкам, вместе с тем вызывали у нас чувство удовлетворения от сознания того, что мы в своей борьбе с этими порядками и порождающим их строем стоим на верном пути, что мы не одиноки как борцы, что за нами стоит масса недобольных и что даже такие трезвые и умудренные опытом авторитетные писатели, как Щедрин, являются, говоря современным языком, нашими «попутчиками»...

Трудно сказать теперь, какое из произведений Щедрина оказало на нас, молодежь того времени, наибольшее влияние. В идеологическом отношении все они — и «Господа ташкентцы», и «Благонамеренные речи», и «Пошехонские рассказы» и «Письма к теньке», и «Современная идиллия» и т. д. вплоть до последних его произведений — 23-х сказок и «Забывших слов» — были в этом отношении равноценны для нас, и, как я сказал уже, оказали громадное влияние на выработку нашего политического мировоззрения. Что же касается непосредственно художественного впечатления, производимого его произведениями, то для примера приведу следующий эпизод.

В начале 80-х годов, по случаю путешествия Александра III на юг, все находящиеся под гласным и негласным надзором полиции неблагонадежные лица были подвергнуты аресту при полицейском управлении г. Ростова на Дону. Нас было человек 50 рабочих, служащих, студентов и проч. Хотя не все мы друг друга знали лично, но в первые же часы пребывания вместе успели установить общность наших истинных чувств к существующему строю. Но вот приводят к нам несколько позднее еще нового арестованного, один внешний вид которого вызывает у нас уже сомнение в том, что он является нашим идейным товарищем, а после расспросов не остается уже никакого сомнения, что мы имеем дело со «шпиком», посаженным к нам полицией для добычи сведений о нас. Мы решили его «выжить» из нашей компании. По уговору с несколькими товарищами я предложил устроить совместное чтение и вызвался прочесть из имеющейся у меня книжки «Сказок» Щедрина художественно написанную и производящую при чтении сильное впечатление сказку «Ночь под светлое воскресенье», где сатирик бичует и клеймит Иуду-предателя. При чтении некоторые из товарищей в упор смотрели на подозреваемого «шпику». Последний, не дождавшись окончания чтения, вызвал стуком в дверь надзирателя, попросился в контору и больше не возвращался в камеру... настолько сильно было впечатление от чтения этой захватывающей сказки. Как известно, Щедрин в этой сказке проводит ту мысль, что единственное преступление, для которого нет и не может быть никакого оправдания, — это предательство...

Прошло уже 45 лет со дня смерти гениального сатирика и редактора «Отечественных Записок», а у меня еще и до сих пор перед глазами, как живой, встает образ Щедрина, как он изображен на распространенной в те времена нелегальной фотографической карточке, где художник нарисовал Щедрина, облаченного в халат, с книжкой «Отечественных Записок», крепко прижатой к груди, ощупью пробирающегося темной ночью в густом дремучем лесу. Сатирик хотя и медленно, но уверенно шагает по тропинке, заваленной буреломом, к едва мерцающему вдали просвету, а на его пути, всюду, между ветвями деревьев виднеются уши, глаза и опять уши... Под фотографией напечатаны были стихи, начинающиеся словами: «Еще полночь. Но близок час рассвета»... (Дальше не помню.) Комментарии излишни.

М. М. ПОЛЯКОВ

Мне, деревенскому жителю, не получившему систематического школьного образования в учебном возрасте, Щедрин помог шире и глубже понять и обобщить явления скружающей меня действительности. Большое торговое село в современном Донбассе, районный центр торговли зерном, шерстью и кожей для экспорта и зачинающейся угольной промышленности... По воскресным и праздничным дням в волостном правлении обязательная порка крестьян за разные провинности, выколачивание недоимки и продажа крестьянского имущества за недоимки же и кабальные долги... На базарах и

в лавках вакханалия всевозможного надувательства и грабежа крестьян... Тут же урядник: голос у него зычный, кулаки огромные, и малейший протест «обдуренного» медленно заглушается урядничьими угрозами, а часто и мордобоем. А в сумерки отдыхающие от трудов праведных хлебники, маклаки, шибай, лавочники, захлебываясь от восторга, хвастают друг перед другом—кто удачней обвесил, обмерил, подсыпал сору в пробу и т. д. Невдалеке—экономические конторы помещиков Милорадовича и Лисаневича; там по праздничным дням слышишь мольбы «мужиков» и вопли баб по случаю грабительских штрафов за потравы (часто провокационные) полей и лугов или лишения арендованных клочков земли, без которых крестьянин-бедняк обречен на полную нищету. Это—первая стадия освоения российской действительности и зарождения зачаточных понятий, мыслей и чувств, создающих революционное настроение. Вторая—книги. Но библиотеки нет. Есть случайные книги: большей частью плохие романы и повести. Неожиданно открывается для меня книжное Эльдorado. У алкоголика отставного полковника на чердаке много книг на разных языках: много и на русском. Здесь разрозненные томы великих писателей 40-х, 50-х и позднейших годов, а также разрозненные комплекты журналов «Русский Вестник», «Отечественные Записки», «Современник», «Дело» и др. В «Отечественных Записках» и отдельно—ряд произведений Щедрина. Если из мира командного класса я, деревенский юноша, знал насильников, взяточников малого калибра, включая пристава и исправника, регулярно два раз в год приезжавшего за данью от всей этой своры, да еще знал красавца благочинного, о котором рассказывали, что он на исповеди под эпитрахилью сговаривался с некоторыми исповедницами о свиданиях, то Щедрин своими произведениями значительно расширил мой горизонт и углубил мои познания в том же направлении. Правда, многое из прочитанного было для меня в ту пору не вполне ясно, но сущность была понята и хорошо усвоена: правящий класс и порядки, им защищаемые,—вопиюще несправедливы. Конечно не один Щедрин был для меня в раннюю пору моего умственного развития великим учителем, а вся совокупность хороших книг и журнальных статей из хранилища полковничьего чердака. Но Щедрин и тогда запечатлевался неизгладимыми, яркими следами в мозгу. И если Некрасов своими поэмами и некоторыми небольшими стихотворениями наполнял сердце гражданской скорбью, зажигал пламя ненависти ко всему существующему строю и стимулировал готовность к участию в революционной борьбе (не в меньшей мере, чем подпольная литература, изредка попадавшая к нам), то Щедрин своим сарказмом и иронией, глубоко обнажая язвы города (мне—деревенщику), давал моему уму и сознанию богатейший материал для размышления над причинами, порождающими нищету, гнет и насилие в деревне. Впоследствии, с накоплением систематических знаний, мне не раз приходилось читать и перечитывать произведения Щедрина, и я у него неизменно черпал не только художественные эмоции, как у других классиков, но и выносил после чтения более четкое, более полное познание основных источников всероссийского гнояника—самодержавия.

И. И. ПОПОВ

Припоминая далекое прошлое, то время, когда складывались мои революционные убеждения, я должен признать, что чтение произведений Н. Щедрина имело для меня исключительное значение. Я не скажу, что я благодаря Щедрину оформил свои социалистические идеалы. Конечно нет. Но он способствовал революционизированию моего мирозерцания. Н. Щедрин дискредитировал самодержавие и весь тогдашний режим и его аппарат с низов до самой вершины. В этом отношении он занимал исключительное положение в тогдашней литературе. Оформление же социалистического мировоззрения слагалось у меня под влиянием Н. Г. Чернышевского, Ф. Лассаля, К. Маркса, П. Л. Миртова-Лаврова, Н. К. Михайловского и др. и конечно «Отечественных Записок».

Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что ни один журнал ни до, ни после не имел такого влияния на молодежь, какое имели «Отечественные Записки» на поколе-

ние 70-х и 80-х годов. Каждая книжка «Отечественных Записок» составляла событие в нашей жизни и возбуждала оживленные толки. Народническое, революционное направление 70-х и первой половины 80-х годов считало этот журнал до известной степени своим органом. Вокруг «Отечественных Записок» группировались лучшие литературные силы во главе с М. Е. Салтыковым, вначале в качестве соредатора, а после смерти Н. А. Некрасова — редактора журнала, Н. К. Михайловский, Г. И. Успенский, Н. Н. Златовратский, Г. З. Елисеев с его знаменитыми «Внутренними обозрениями» и другие, не говоря уже о более молодых. Журнал дал не только высокохудожественные произведения, в которых показал картину безысходного горя народного, но и поставил ряд социальных проблем и вопросов. Под влиянием этих авторов сложилась так сказать положительная программа моих убеждений и создавался идеал будущего.

М. Е. Салтыков стоял особняком, как бы особняком, но он не терялся среди этих авторов и его произведения не затухали богатством содержания журнала. Я думаю, что громадное большинство читателей «Отечественных Записок» (а их было много и среди «наших» и «не наших», среди друзей и врагов) при получении книжки набрасывалось прежде всего на Щедрина. Его изумительный гений и желчный смех, «милые шуточки», от которых задеты зеленели от бешенства, злой сарказм вскрывали и обнажали российскую реакцию, насилие, пошлость, «благородство» в кавычках и тому подобные характерные черты правительства, администрации, печати и общества, не исключая и либерального. После так называемой эпохи великих реформ Щедрина не пропускал ни одного значительного события, чтобы на него не откликнуться. Он давал целую галерею типов среди правительства и администрации от бутаря до высших правителей, среди адвокатуры, земцев, органов печати, писателей, буржуазии, крепостнического дворянства, Деруновых, Разуваевых, Колупаевых и мн. др. Никто не возбуждал столько суждений, разговоров, догадок, смеха и злобы, как великий сатирик своими творениями, в которых, несмотря на юмор, смех, шуточки, описывались подлинные трагедии. Его «Мелочи жизни» давали жуткую картину и вызывали слезы. Щедрина был не только сатириком, но и пророком: он предсказывал события, предугадывал задуманные реакционные мероприятия. Он описывал события не только с внешней стороны, но доказывал, что при наличии существующих условий они неизбежны и логически необходимы, потому что связаны с государственным строем и его порядками. Никто из писателей ежемесячно, в течение многих лет, не возбуждал в читателе столько ненависти к существующему режиму, бесправию, пошлости жизни, продажности, хищничеству и тому подобным явлениям русской жизни, как Салтыков.

Слушая споры студентов-братьев с их товарищами после прочтения Щедрина, я заинтересовался им и стал читать его с 1877 г., когда мне было 15—16 лет, и не прерывал чтения его до самой смерти писателя в 1889 г. Вначале в моей памяти запечатлелись Бородавкин («История одного города»), составивший «кустар» на нестесненных градоначальников законом», помещик Поскудников («Дневник провинциала»), предлагавший подвергнуть «расстрелянию всех несогласно мыслящих», и другие прожекты разных Удавов и Дыб, помпадуров и помпадурш, благонадежных и знающих обстоятельства местных землевладельцев; «гор. Ташкент есть страна, лежащая всюду, где бьют по зубам и где имеют право гражданственности («Предание о Макаре, телят не гонящем») Дерунов и Стрелов, Разуваев и Колупаев и другие хищники, с необычайной смелостью предъявлявшие права на «столпов» отечества». Затем пошли люди торжествующей современности, консерваторы в образе либералов, литературные клоуны под девизом «мыслить не полагается». Все они ставили порабощение народа превыше всего, а средством для этого у них было оклеветание противников. Чем более усиливалась реакция, тем сильнее, злее становился сарказм сатирика. Сенсацию вызвала в очерках «За рубежом» «Торжествующая свинья». Она не только издевается над «Правдой», но и ссыскивает ее своими средствами, с чавканьем гложет ее публично и не стесняется. В «Сказках» опять слышится душевная мука и дан ряд картин русского страдания, и таких картин, каких не много найдется даже в русской художественной литературе.

Но Салтыков не был пессимистом и не отчаивался от мути жизни, порожденной шкурным малодушием. Вдумайтесь в его пророчество в сказке «Пропала совесть». Когда вырастет малютка, в сердце которого совесть нашла приют, вырастет и совесть, и исчезнут тогда «все неправды, коварства, насилия, потому что совесть будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама». В «Письмах к тетеньке» Салтыков выражает уверенность, что русское общество «не поддастся наплыву низкопробного озлобления на все, выходящее за пределы хлевой атмосферы».

Отзываясь на самые злободневные темы, ставя прогнозы общественной и государственной жизни, Салтыков возбуждал особый интерес к своим произведениям, как никто другой из писателей. Получая книжку «Отечественных Записок», мы прежде всего набрасывались на Щедрина. Да вероятно не мы только, а и те, кто с особой ненавистью брал в руки журнал в светложелтой обложке — «не попал ли я к нему на зубок?» Около Щедрина велись споры, строились предположения не только о лицах, но и о том, что именно имел он в виду, описывая панацею, долженствующую якобы осчастливить людей, а на самом деле принесшую много зла.

Щедрин так сильно возбуждал интерес в обществе, что его произведения, не только непропущенные цензурой, но и напечатанные в журнале, перепечатывались в заграничной русской печати. В России же, в Петербурге, Москве и других городах, ненапечатанные его сказки гектографировались и иногда нелегально печатались. Как они попадали в руки революционера, я точно не могу сказать, хотя в гектографии А. В. Пихтина и С. И. Чекулева не раз сам гектографировал их. М. Е. Салтыков был крайне осторожен и вряд ли давал непропущенные цензурой статьи даже для прочтения. Редакция «Отечественных Записок» также не выпускала из редакции зачеркнутые цензурой статьи. Вероятно в типографии корректора, метрапжажи, наборщики делали оттиски, которые и переписывались для прочтения. Есть у меня еще одно предположение. С. Н. Кривенко, состоявший в редакции «Отечественных Записок», вне всякого сомнения давал непропущенного Щедрина читать С. Е. Усовой, близкому ему человеку, в ссылке ставшей его женой, а та переписывала и давала нам и другим, кто имел гектограф, с тем, чтобы деньги за проданные экземпляры передавались в «О-во помощи политическим ссыльным и заключенным» («Синий Крест»), деятельным членом которого она была. Повторяю, это мое предположение. В связи с нелегальным изданием «Сказок» спрашивается, почему не приваскали к ответственности самого М. Е. Салтыкова? Тогда говорили, что министр Д. А. Толстой не решался применять репрессий по отношению к своему школьному товарищу по Александровскому лицей. Правительство терпело Салтыкова и «Отечественные Записки» вероятно и потому, что не желало вызывать в обществе сенсации. Но в апреле 1884 г. «Отечественные Записки» закрыли. В это время я уже сидел арестованным в Доме предварительного заключения, где на свидании брат сообщил мне эту новость. Ни одна приостановка или закрытие других журналов не произвело на меня такого впечатления, как прекращение «Отечественных Записок». Такое же впечатление закрытие журнала вызвало в обществе. Недаром, вопреки обычаю, правительство дало пространное объяснение, почему оно вынуждено было прибегнуть к этой мере. Я, да и другие решали вопрос, где же теперь будет печататься М. Е. Салтыков? Да и возможно ли ему теперь печататься? Сомневались в этом не только мы, но и сам Щедрин: «Несколько месяцев тому назад я, — писал М. Е. Салтыков в «Пестрых письмах». — неожиданно лишился языка»; так же и «Крамольников» («Приключение с Крамольниковым»), однажды утром проснувшись, совершенно явственно ощутил, что его нет». Читатели Щедрина остро почувствовали, что Крамольникова нестало пока, и когда появились в «Вестнике Европы» новые вещи сатирика, мы радостно воскликнули: «А он жив!» Нужно было пережить эти несколько месяцев, когда Щедрин не печатался, чтобы почувствовать, как он стал нам необходим и как важно читать его, чтобы разбираться в тогдашней мрачной действительности. В Предварилке я стал перечитывать Щедрина, и первое, что мне попало, была книжка «Отечественных Записок» за 1881 г. и статья «Июльские веники». Я помнил ее, и в свое время она произвела на меня сильное впечатление. В этой статье М. Е. Салтыков выступил с резким осуждением еврейских погромов. «История никогда не начертывала на своих страницах вопроса

более тяжелого, более чуждого человечности, более мучительного, нежели вопрос еврейский». Салтыков, да и Н. К. Михайловский, кажется только они среди русских литераторов, дали правильное освещение погромам, при чем Н. Щедрин писал горячо и страстно и заставил многих задуматься над словами: «сколько симпатичного таит в себе замученное еврейство и какая неистовая трагедия тяготеет над его существованием...». «Нет более надрывающей сердце повести, как повесть этого бесконечного истязания человека человеком». М. Е. Салтыков был убежденным ненавистником всякого насилия и надругательства над человеком. Говоря о страданиях народа, он подымался до высокого пафоса и лиризма и давал истинно художественные картины, каких не много было и в народнической литературе. В этом отношении он ближе всех подходил к Н. А. Некрасову. Ставя звание литератора превыше всего, он требовал от печати честного, правдивого, без всяких стеснений служения народу. Печать и литература должны способствовать развитию правильного знания. «Знать, вот что нужно прежде всего, а знание неизменно приведет за собой и чувство человечности. В этом чувстве, как гармоническом целом, сливаются те качества, благодаря которым отношения между людьми являются прочными и доброкачественными. А именно справедливость, сознание братства и любви». Слова и принципы, совершенно чуждые в эпоху «общества взволнованных лоботрясов», как Щедрин прозвал великосветских добровольцев-шпионов из «Священной Лиги».

Этим эскизно-беглым обзором Щедрина, какой я сделал, думаю вполне подтверждается мое утверждение, что чтение Щедрина имело на наше поколение революционизирующее влияние.

А. В. ПРИБЫЛЕВ

Еще в студенческие годы мы с особым удовольствием читали статьи Щедрина. Они привлекали к себе наше внимание не только освещением темных сторон русской жизни, но и бесчисленными намеками на несовершенство внутренней политики государства. Острота языка его сатир, разгадываемый нами его эзоповский язык часто возбуждали множество вопросов, создавали особое протестующее настроение, впоследствии переходящее в революционное. Пользуясь огромным уважением среди молодежи, Салтыков-Щедрин в то же время слыл человеком суровым, недоступным и чересчур насмешливым с людьми чуждого ему круга. В этом отчасти мне самому по личному опыту пришлось убедиться. Кажется в 1879 г., когда в нашем землячестве организовалась кружковая земляческая библиотечка, ее организатором, в том числе и мне, предстояло посетить кое-кого из издателей-литераторов, чтобы упросить их пожертвовать свои издания в пользу нашей бедной библиотеки. На мою долю выпала обязанность с этой целью побывать у Благоветлова и Щедрина. Первый снабдил меня экземпляром всех изданий журнала «Дело», а у Щедрина я имел в виду получить даровой экземпляр «Отечественных Записок». К последнему я шел с большим трепетом, зная его суровый характер и умение огорошить нежелательного посетителя. Тем не менее я набрался смелости и, к моему удивлению, совершенно легко и беспрепятственно проник в кабинет редактора. За столом сидела знакомая мне по портретам фигура серьезного, занятого писателя с характерным выражением больших выпуклых глаз, взглянувших на меня как будто не вполне доброжелательно. Когда я объяснил причину моего прихода и выразил просьбу пожертвовать один экземпляр журнала, он спросил: «Библиотека? Какая?» Я объяснил. «Вы думаете, мы обязаны давать журнал всем, кто его просит?» спросил он. «Не всем, а нашему студенческому кружку», отвечал я. «Нет вы напрасно ходите и кланяетесь, вы ничего не получите!» Огорченный и афранированный я поклонился и повернулся, чтобы уйти прочь, но Михаил Евграфович остановил меня и, бросив мне бумажку, коротко отрезал: «В контору». Дело было сделано, журнал я получил и скоро забыл весь неприветливый диалог со Щедриным.

В последующие годы, будучи уже на Каре, мы не пропускали ни одной статьи Щедрина, всегда их комментировали, обсуждали восхищались его талантом и умением пользоваться эзоповским языком, смысл которого так гармонировал с нашими взглядами и мыслями.

Таким образом в ряду множества влияний, революционизирующих молодежь моего поколения, нельзя не приписать значительной доли русской прогрессивной литературе вообще и сказкам, статьям и сатирам Щедрина в частности.

Они будировали, волновали и возбуждали наши думы, побуждали мыслить в определенном направлении, от критики современного строя отводили к настроениям протеста, от них — к революционному сознанию.

П. В. РОВЕНСКИЙ

Салтыков-Щедрин обладал замечательным сатирическим талантом. Этот талант проявился с особенным блеском и силой в его «Сказках», в которых всегда трактуется гонение на правду. По цензурным условиям в «Сказках» всегда была аллегория и недоговоренность, но революционным чутьем мы улавливали их смысл. Щедрин в своей сатире никого не щадил. Полный ненависти к царскому деспотизму, он особенно едко, уничтожающе изображал царей и их администрацию. Благодаря своему таланту Щедрин умело и ярко легально проповедывал террор и поэтому его «Сказки» имели революционизирующее влияние. В кружках как интеллигентских, так и рабочих «Сказки» читались с чувством глубокого удовлетворения. Рядом со статьями Михайловского и Елисеева они будили лучшие чувства и мысли и заставляли задумываться над решением проклятых вопросов.

Н. М. ТЕРЕШЕНКОВ

Пишу по воспоминаниям о том, что мне передал брат мой С. М. Терешенков, бывший в делегации, посланной от московского студенчества в Петербург к Щедрину для выражения сожаления по поводу закрытия «Отечественных Записок», передачи адресов-протестов по поводу этого и выражения глубокой симпатии и уважения Щедрину.

С. М. Терешенков, студент Высшего Технического Училища, состоял в то время членом Московской центральной группы «Народной воли» и имел крепкую связь с Общественным Союзом.

Я помню в руках С. М. Терешенкова накануне отъезда делегации в Петербург адреса студентов Технического Училища, Московского университета, студентов-петровцев и др.

Был ли в конце-концов составлен еще один общий компромиссный адрес, о котором говорит П. Анатольев в статье «К истории закрытия «Отечественных Записок» («Каторга и ссылка» № 58—59, 1929 г.), — я не помню. Помню, что в один из адресов я дал свою подпись.

История приема депутации студентов Щедриным, приведенная П. Анатольевым со слов А. Бурцева, рисует этот прием почти в том виде, как передавал мне и С. М. Терешенков.

Выступивший вперед и начавший речь депутат, насколько я помню из рассказа брата, и был сам С. М. Терешенков.

Щедрин совершенно неожиданно оборвал оратора и, между прочим, заявил, что история с депутацией и адресом может грозить ему, Щедрину, крайне тяжелыми последствиями.

В поведении и словах Щедрина брат видел и слышал скорее испуг и страх при виде депутации и подносимого ею адреса, чем злобу и негодование против депутации, о которых пишет А. Бурцев.

Я припоминаю, что депутат (С. М. Терешенков) стал высказывать Щедрина свое удивление по поводу обнаруженного Щедриным испуга.

Тогда выступил другой депутат и стал извиняться за причиненные Щедрину неприятность и неудовольствие приехавшей с адресом депутацией и пославшими ее студентами.

Щедрин как бы опомнился и повел с депутацией беседу о современном политическом и общественном состоянии России, о закрытии «Отечественных Записок» и пр.

Адрес однако уже не был прочитан.

Депутация передала адреса или адрес Михайловскому и Южакову; во всяком случае, насколько я помню со слова брата, временно один из адресов был вывешен в квартире Южакова или Михайловского.

Кроме двух названных литераторов, депутация побывала еще у некоторых сотрудников «Отечественных Записок» — Мишля, Салова и др.

Таков был сохранившийся в моей памяти рассказ С. М. Терешенкова об истории с адресом Щедрину.

В. Н. ФИГНЕР

Редакция журнала «Литературное Наследство» задала вопрос: как революционеры относились к Щедрину? как воспринимали его в революционных кружках и организациях и как, в частности, воспринимала его лично я? Что мы, революционеры, наиболее ценили в нем; чем помогал он в выработке нашего мировоззрения и в практической деятельности?

Этот вопрос явился для меня полной неожиданностью: во всей моей жизни он никем никогда не поднимался — до такой степени значение и возможное влияние Щедрина поглощалось общим значением передового журнала, в котором он был сотрудником и редактором.

В моем развитии и духовной жизни вообще Щедрин никакого влияния не имел. Относительно моих сверстников-товарищей по убеждениям и деятельности, мне кажется, я могу сказать то же самое. Для проверки личных воспоминаний я не поленилась пересмотреть хорошо мне известный том Энциклопедии Граната, заключающий 44 автобиографии революционных деятелей 1870—1880 гг. прошлого столетия.

В истории своего развития все, за немногими исключениями, отмечает определяющее влияние Лаврова-Миртова, Михайловского; называют и других писателей ходовой в ту эпоху литературы: Берви-Флеровского, Добролюбова, Писарева, Чернышевского, Бокля, но Щедрина не называют. Его имя упоминается мельком только в двух случаях (у Сухомлина и у Ястремского).

Я перечитала еще 40—50 анкет членов Группы народолюбцев при О-ве б. политкоржан и сс. поселенцев. В них о Щедрине тоже никто не говорит: везде Миртов, Михайловский, Добролюбов.

По моим личным наблюдениям совершенно исключительное эмоциональное влияние имела поэзия Некрасова. Даже то, что его «лира» извлекала порой «фальшивые звуки», в чем он каялся, и то, что его жизнь не была в гармонии с его стихом, было поучительно, заставляло волноваться, размышлять и воспитывало ценное сознание необходимости, чтобы слово и дело были согласованы.

Позднее писателем, любимым и близким для всех нас, был Гл. Ив. Успенский: искренность и проникновенная любовь к мужику, к деревне родила его с нами.

Что касается Щедрина — для него особого уголка в душе не было. Его сатира росла по мере того, как развертывалась внутренняя жизнь в России и в культурном слое росло политическое сознание. В период «исканий» у нас были другие учителя, а когда его талант достиг своих вершин, мы вышли из периода юности и были поглощены практической революционной деятельностью, которой Щедрин был чужд.

Как относился Щедрин к нам в период наиболее острой борьбы с самодержавием? Сношения с ним никто из нас не имел — он был слишком осторожен для этого. Вероят-

но он смотрел на действующих революционеров, как смотрел другой редактор «Отечественных Записок» — старый писатель-народник Гр. Зах. Елисеев. С Елисеевым я встречалась со времени процесса 50-ти в 1877 г. Меня познакомил с ним и его женой Александр Львович Боровиковский, защитник моей сестры Лидии и других женщин, цюрихских студенток, судившихся по этому процессу.

При встречах после взрыва под Москвой и взрыва в Зимнем дворце, в то время как жена Елисеева говорила о панике, возникшей в Петербурге после этих взрывов, а мы готовили 1-е марта, Григорий Захарович в конце 1880 г. говорил мне: «Ну, что вы делаете? Бьете головой в каменную стену?.. только головы свои разобьете. И чего добиваетесь? Теперь секут без закона... а тогда будут сесть по закону».

Говорил так, а сам предложить ничего не имел.

Может ли мой личный пример (со студенческих годов и до заключения в Шлиссельбургскую крепость) и пример моего окружения считаться типичным? Конечно нет.

Для одних (в том числе и для меня) он обуславливался особыми условиями духовного развития (в 1872—1876); для других — исключительными условиями, в которых протекало революционное движение данного периода, и характером деятельности организации, и которой принадлежала я как член Исполнительного комитета партии «Народной воли». Условия же были таковы.

Мне было 19 лет, когда весной 1872 г. из имения отца в глухом Тетюшском уезде, Казанской губ. я уехала в Швейцарию, чтобы поступить на медицинский факультет Цюрихского университета.

Воспитывалась я в казанском Родионовском институте и пробыла в этом закрытом учебном заведении шесть лет (1863—1869). В нем имени Щедрина я не слышала.

Дома у нас в деревне выписывали «Отечественные Записки», а мой дядя Куприянов — передовой земский деятель — выписывал «Дело», а раньше «Русское Слово». Но на летних шестинедельных каникулах журналов я не читала, — читала исключительно отдельные повести и романы. О Щедрине не слышала. После выхода из института под влиянием дяди интересовалась книгами о государственном устройстве и жизни С.-А. С. Штатов и Швейцарии; сочинениями Д.-С. Милля (о свободе, об утилитаризме), книгами по естествознанию и статьями Писарева о превосходстве естественных наук.

В Цюрихе я попала в среду женской молодежи, съехавшейся со всех концов России, благодаря неверному слуху, что 1872 год — последний по приему женщин в университет без экзаменов.

В политическом отношении они были далеко впереди меня, но и передо мной скоро открылись широкие горизонты европейской жизни, и я познакомилась с волнующими идеями политическо-экономических течений Западной Европы. Революционные вопросы и социализм сосредоточивали на себе наше внимание, рабочее движение и Интернационал захватывали нас. О Щедрине в нашей среде не было и речи. Наши требования и общественные запросы с первой же минуты оказались шире содержания легальной русской прессы, и нашему развитию Щедрин не мог содействовать. Он осмеивал частные случаи, темные стороны русской жизни, а мы воспринимали и усваивали критику основ существующего экономического и политического строя, который существовал не только в России, но и во всех странах культурного мира. Нам не надо было карикатур и остроумных крылатых слов: мы не хотели смеяться. В своей свежей молодости мы были требовательны, серьезны и нетерпимы. Не смущаясь, я скажу: мы смотрели глубже, потому что смотрели в сущность вещей, и смотрели шире, потому что смотрели на зло, которым страдали все народы. И искали дела. Искали путей и средств для борьбы. Искали руководства в опыте истории народных движений, в истории революций, в истории борцов-революционеров; в описании их стремлений, побед и поражений думали найти указание, чтобы идти вперед к уничтожению всех социальных зол.

Что мог дать нам Щедрин в этих исканиях?.. Нам, которые в свои 18—20 лет, в политически свободной стране, были в водовороте европейской жизни?

В конце декабря 1875 г. я оставила университет и вернулась в Россию. Благодаря обширным знакомствам, заведенным в студенческие годы, передо мной были открыты

двери в круги квалифицированных революционных деятелей Петербурга. Через полгода была членом группы тайного о-ва «Земля и воля», в июне 1879 г. участвовала в Воронежском съезде, а при расколе «Земли и воли» стала членом партии «Народная воля» и в качестве члена Исполнительного комитета оказалось в центре ее.

Тут были уже не искания: революционное движение, проходя одну стадию развития за другой, вступило в стадию боевой деятельности — от слова, от пропаганды словом перешло к действию, к пропаганде делом, от шервенства переворота экономического революционное сознание повернулось к необходимости прежде всего свергнуть самодержавие и добиться политической свободы, без которой невозможно было движение вперед. И когда боевая деятельность «Народной воли», остановившая на себе «зрачок мира», развернулась, не русские легальные писатели вдохновляли и руководили революционным движением в борьбе с автократией, а мы заражались их действенным духом революции. Они могли только «сочувствовать», но принять участие в борьбе органически не могли. Даже в печатном слове они не могли идти с нами в ногу: когда народолюбцы открывали им страницы своего свободного органа, они не были в состоянии писать в нем.

В итоге никто не вздумает отрицать общего значения и влияния передовой легальной прессы на общество и в частности на молодые поколения, но произведения легальных писателей имели значение подготовительной школы, после которой надо было идти дальше: бороться они не учили; претворять слово в дело — не учили. В духовном общении между собой и в нашем революционном окружении я за все время моей деятельности не слышала никаких разговоров и суждений о Щедрине.

Внимание было обращено на других писателей, речь шла всегда о вопросах более близких для нас, революционеров:

Меня интересовало, какое значение имел Щедрин для поколения, непосредственно следовавшего за нами? Я думала собирать сведения, обращаясь к отдельным лицам.

Но редакция «Литературного Наследства», обращаясь ко мне, одновременно обратилась к «Группе народолюбцев» при О-ве б. политкаторжан, и я присутствовала на заседании, на котором давались ответы на запрос редакции. К сожалению ответы были крайне малочисленны (8—9). Из них 6 были положительные — они свидетельствовали, что произведения Щедрина имели на данных лиц влияние революционизирующее. Любопытно, что на мой вопрос, в каком возрасте они читали Щедрина, трое отвечали: в 12, 13, 15 лет. Из шести — пять восьмидесятники и только один семидесятник.

Я хотела также знать мнение и того поколения, которое было старше моего, и в этом отношении имею два отзыва: знаменитого анархиста П. А. Кропоткина (род. 1842 г.) и революционера-бакуниста Михаила Петровича Сажина (род. в 1845 г.).

В книге П. А. Кропоткина «Идеалы и действительность в русской литературе», в отношении которой положено восемь лекций, прочитанных П. А. Кропоткиным в Америке в 1901 г., он говорит: «В начале восьмидесятых годов, с прекращением террористической борьбы против самодержавия и с восшествием на престол Александра III, когда редакция восторжествовала окончательно, сатира Щедрина превратилась в крик отчаяния. По временам сатирик достигал величия в своей печальной иронии, и его «Письма к тетеньке» останутся в литературе не только как исторический памятник, но и как глубоко интересный психологический документ. Надо впрочем сказать, что и тут его сатира не достигла той силы, которой должна достигать истинная могучая сатира, бичующая так, что от ее ударов бичуемые приходят в еще большее бешенство, чем от прямых нападений. Вообще если сатира Щедрина имела хорошее влияние на молодое поколение тем, что выставляла ему напоказ всю пошлость «ликующих, праздноболтающих» и удерживала от засасывания в этом стане, то едва ли она могла оказывать одинаково положительное влияние, уводя людей «в стан погибающих за великое дело любви».

М. П. Сажин имел в период 1872—1876 гг. в Швейцарии обширные связи среди молодежи (учившейся в университетах и приезжей из России). Его наблюдения вполне совпадают с тем, что было высказано мной. Для него и для того поколения, по его

мнению, Щедрин не имел значения — они были революционнее его и переросли его сатиру.

Если бы редакции удалось собрать достаточно данных и разгруппировать их точнее по времени (60-е, 70-е и 80-е гг.), то возможен был бы вывод о связи отзывов с общим характером периодов, к которым они относятся, а именно с общественным подъемом и с усилением революционного движения, с одной стороны, а с другой — в связи с реакцией правительственной и общественной.

Быть может я не ошибусь, если скажу, что помимо развития таланта нашего сатирика его успех рос по мере усиления реакции с началом царствования Александра III, реакции не только политической, но и общественной, а в революционном движении было затишье и перестройка: старое направление отмирало, а новое только пробивало себе путь, складывалось, но еще не сложилось.

Такое впечатление произвело на меня заседание группы народовольцев, состоявшее почти исключительно из восьмидесятников. После, когда я спросила одного знакомого, чем он объясняет успех Щедрина в 80-е годы (его университетские годы), он не задумываясь ответил: «Тогда было такое темное время, что всякое слово обличения и осмеяния полицейских порядков нашего строя принималось с восторгом».

Интересно, как смотрел и оценивал сам Щедрин свою литературную деятельность.

В этом отношении знаменательна его статья — настоящая исповедь: «Имярек».

Упомянув, что в ранней молодости он был идеалистом-фурьеристом, переходя ко времени ссылки в Вятку, он говорит: «Юношеский угар соскользнул быстро. Понятие о зле сузилось до понятия о лихоимстве, понятие о лжи — до понятия о подлоге, понятие о нравственном безобразии — до понятия о беспробудном пьянстве, в котором погрязло местное чиновничество. Вместо служения идеалам добра, истины, любви и проч. — предстал идеал служения долгу, букве закона, принятым обязательствам» и т. д. (стр. 604).

О периоде после ссылки автор рассказывает: «Имярек вновь очутился в центре «большой деятельности» (в отличие от малой, провинциальной). Это было время, когда все носы, и водящие и водимые, смешались, когда мертвые встали из гробов и рванулись на встречу проглянувшему лучу света. Вместе с другими потянулся к лучу и Имярек. Эпоха возрождения была довольно продолжительна, но она шла так неровно, что трудно было формулировать сколько-нибудь определенно сущность ее... Лозунг его в то время выражался в трех словах: свобода, развитие и справедливость. Свобода — как стихия, в которой предстояло воспитываться человеку, развитие как неизбежное условие, без которого никакое начинание не может представлять задатков жизненности, справедливость — как мерило в отношениях между людьми, такое мерило, за чертою которого должны умолкнуть все дальнейшие притязания... И вот теперь, скованный недугом, он видит пред собой призраки прошлого. Все, что наполняло его жизнь, представляется ему сновидением. Что такое свобода — без участия в благах жизни? Что такое развитие — без явно намеченной конечной цели? Что такое справедливость, лишенная огня самоотверженности и любви?»

Слова, слова и слова...» (Разрядка моя.— В. Ф.)

Читая эти скорбные слова, как не вспомнить другого, самого искреннего писателя того времени, так любимого всем нашим поколением, — Гл. Ив. Успенского, вполне сочувствовавшего нам, тогдашним революционерам. В письме Соболевскому, редактору «Русских Ведомостей», он говорит: «Да, надо действовать прямо. Ты — писатель (думают они), сочувствуешь и тому-то и тому-то? Ну так докажи (разрядка моя.— В. Ф.). Беда тебе будет? Плохо? До этого нам нет дела. Ты должен не быть зайцем, боящимся всего этого. Если вы, писатели, пишете то-то и то-то, то и на деле — пожалуйста. Это все верно, правда сущая, но я уже напуган. Вздохну, обдумаю, немного укреплюсь и, поверьте, сделаю так! Если я не сделаю так, то все чепуха, вся жизнь — вздор, сочинение, пустяки, презренные пустяки» (разрядка моя.— В. Ф.).

Требовательны были мы, требовательны и непримиримы. И Глеб Иванович прекрасно понимал нас, сущность нашу.

М. Ф. ФРОЛЕНКО

Вполне соглашаясь с тем, что о Щедрине сказали товарищи, и подписываясь под их писанием, от себя лишь замечу то, что в начале 70-х годов Щедрин для меня и для моих близких товарищей не был учителем в революции — мы учились ей на другом и у других учителей.

В 60-х годах, когда у нас начались реформы, многие набросились на них, думая своей службой приносить большую пользу обществу, народу, — но скоро в этом разочаровались, и вынесено было заключение, что легальной деятельностью хорошего ничего нельзя сделать — заплатами старого платья не починишь, — что для этого нужна революция и что только одна она может что-либо сделать, а потому только ею и следует заняться.

Этот завет был передан нам семидесятниками. Вот он, да плюс такие учителя, как Чернышевский, Великая французская революция, Коммуна и сделали в начале 70-х годов нас революционерами.

Беспощадный, всесторонний критик и сатирик Щедрин важен был для нас тем, что давал нам в руки ценные данные, которые вполне оправдывали нашу революционную деятельность и находили ее необходимо-нужной.

Кроме того, бичуя произвол, карьеризм, взяточничество, погоню за наживой, он не малое оказывал влияние и на широкие слои населения, вызывая у них критику существующего безобразия и благожелательное сочувствие к деятельности революционеров, побуждая при том молодежь самой заняться тем же.

В. И. ФРОЛОВ

Для революционно настроенной части студентов Петровской академии середины 80-х годов прошлого столетия Щедрин несомненно был своим писателем, таким же, как Глеб Успенский и Михайловский. День, когда появилось известие о запрещении «Отечественных Записок», был в подлинном смысле траурным днем: на лекциях, в столовой, в лабораториях только и разговору было, что об этом запрещении. Его «Сказки», изданные литографским и гектографским способом, пользовались широким распространением. Под буквы, которым по звуковому методу обучался Орел, подставляли слова террористического содержания. Наставник заставляет Орла заучить буквы: в, з, б, к, м — это расшифровывали так: вот завтра будет казнь монарха. Огромное и глубокое внимание привлекали к себе и легальные сказки Щедрина. В Бутырской тюрьме в качестве слушателей было два надзирателя; здесь были прочитаны и комментированы сказки «Христова ночь», напечатанные в «Русских Ведомостях», нелегально доставленных в тюрьму.

В ссылке в Березове политические ссыльные получали «Вестник Европы» единственно из-за того, что в нем печатался Щедрин, и большей частью на страницах Щедрина единственно и бывал разрезан журнал.

Когда Щедрин скончался, березовская колония послала семье покойного сочувственный адрес, в котором называла Щедрина своим учителем. Так как переписка ссыльных Березова была под контролем, то возникли опасения, что исправник не пропустит этот адрес. Однако исправник не только пропустил, но, прочитав наш адрес, перекрестился широким крестом и сказал: «Царство ему небесное. Закатилась великая звезда земли русской. Я ведь знал покойного: мы с ним вместе служили». Когда Щедрин был чиновником особых поручений при вятском губернаторе, наш исправник начинал свою служебную карьеру писарем вятского полицейского управления.

Н. А. ЧАРУШИН

Сатира Салтыкова-Щедрина по разнообразию своего идейного содержания и по силе вложенного в нее чувства, полагаю, не могла не иметь революционизирующего влияния на молодое поколение. Такое влияние, в числе других писателей, несомненно имел на меня и Салтыков-Щедрин. Всесторонний и беспощадный анализ русской жизни,

какой он давал в своих сатирах, не оставил живого места на теле России, и невольно под влиянием его писаний, почти всегда трогających, создавалось представление о ней как о стране до последней степени угнетенной и придушенной, отданной на поток и разграбление разным Деруновым, Колупаевым и дельцам высшего порядка. Все это вместе взятое не могло не вызывать в читателе чувств возмущения и негодования, а в особо чутком и деятельном—стремления к борьбе с таким убийственным укладом жизни. Путь же для борьбы по условиям времени оставался почти один—революционный.

М. П. ШЕБАЛИН

Я также позволю себе сказать несколько слов. Конечно ничего похожего на такой прелестный кусочек литературы, какой сообщила нам В. И. Дмитриева, я дать не могу. Что касается моих современников, которые высказывались до меня, то я вполне подтверждаю их слова и могу сказать, что и на меня Щедрин производил такое же впечатление. Да и странно было бы, если бы он не производил этого впечатления,—ведь никто лучше Щедрина не изображал в тогдашней легальной прессе того социального строя, в котором мы имели несчастье родиться и жить. Скажите пожалуйста, кто так едко и так метко изображал администрацию? Никто, кроме Щедрина. Он умел сказать так, что все понимали всю ту гадость, которая была кругом и которую он именно хотел показать. Вместе с тем он это показывал так, что цензуре трудно было к нему придраться. Щедрин разоблачал не только администрацию, но и буржуазию тогдашнюю в лице Колупаевых и Разуваевых, его сатира затрагивала также либеральную прессу. Помните Тряпичкина, корреспондента, который мог что угодно сказать и что угодно продать? Словом, такой едкой сатиры на существовавший тогда строй, как у Щедрина, вы не найдете нигде в тогдашней литературе, разве только за границей. Этим и объясняется то влияние, которое он имел в свое время. Я хочу прибавить еще следующее: я знал уже тогда, что Щедрин—бывший петрашевец. Я знал, что это—аристократ, бывший губернатор, но все же петрашевец. Я знал это, и это меня подкупало в его пользу. Знал я также, что Д. И. Писарев относился к Щедрину отрицательно и сатиры его считал «невинным юмором», но я с этим не соглашался. В мое время впечатление, производимое Щедриным, все более разрасталось, и мы увлекались его статьями в «Отечественных Записках». Будучи студентом, я сам распространял нелегальные издания и продавал их по 3 и 5 целковых за штуку, что по тогдашнему времени было значительной суммой. Я не знал тогда, какая была связь у Щедрина с революционной средой; однако произведения его попадали в нелегальную печать. Я не знал тогда и того факта, который узнал, когда я сделал заведующим Музеем Кропоткина. Организовавшаяся в 1881 г. подпольная черносотенная «Священная дружина» замыслила убить П. А. Кропоткина, которого охранники считали главой всего революционного движения. Был послан за границу специальный убийца—какой-то офицер. Щедрин узнал об этом и с большой осторожностью предупредил П. А. об этом замысле, уехав за границу как бы для лечения. Таким образом план этот потерпел фиаско. Факт этот показывает, что в Щедрине петрашевец никогда не умерал. Я думаю, что Щедрин после ссылки в Вятку скрыл свое нутро, но сохранил его до конца жизни. Думаюется мне, что Щедрин был больше чем либерал, он был социалист-утопист. Поэтому он не смущаясь критиковал либералов и представлял в настоящем свете либеральных писателей.

Е. И. ЯКОВЕНКО

Читать Щедрина я начал в раннем возрасте. Мне было лет 13, когда у нас в доме появились «Отечественные Записки», которые я читал с большим усердием, не останавливаясь перед тем, что многое в них было мне тогда непонятно. И тогда уже, конечно не без влияния со стороны старших в семье, складывалось у меня представление, что Щедрин зло, но правильно осмеивает пошлость и отсталость чиновничьего мира, а вместе с ним всего царского правительства. А так как в семье нашей довольно сильно было оппозиционное направление и давался простор свободомыслию, то естественно, что

произведения Щедрина находили во мне восприимчивую почву. В то же время я, читая Щедрина, научился понимать, что под злою насмешкой скрывается сильный протест против царившего порядка, протест, который вдохновлял и звал на борьбу. Впоследствии мне становилось все более очевидным, что Щедрин не просто осмивал пошлость и холопство, но делал это потому, что существуют светлые, хорошие, достойные формы жизни, которым пошлость и холопство мешают осуществиться. Это еще более привлекало к чтению Щедрина. Ведь молодости нужен идеализм.

Недоброжелательство и озлобление, которые встречал Щедрин в чиновничьих сферах и в частности среди наших чиновников-учителей, укрепляли нас, гимназистов, в мысли, что именно за Щедрина нужно держаться,—его стрелы попадают в цель. Много позже бывший шлиссельбуржец, потом член Государственной думы В. А. Караулов как-то в Сибири рассказывал мне, что однажды при допросе его жандармским генералом Новицким в Киеве почему-то было упомянуто имя Щедрина. Жандарм с нескрываемой злобой сказал: «Скоро и господин Щедрин будет сидеть у нас на том же месте, где сидите теперь вы». В Щедрине жандармы видели революционизирующую силу, но не решались наложить на него руку, как позже не решались посягнуть на Толстого. Все-таки была еще некоторая боязнь общественного мнения.

В последних классах гимназии Щедрин уже был для нас одним из наиболее читаемых и популярных современных писателей. Когда мы собирали между собой гривенники на приобретение хотя и легальной, но «хорошей» литературы, непременно приобретались сочинения Щедрина. Они переходили из рук в руки. От гимназического начальства это не могло скраться, и оно отбирало у нас сочинения Щедрина как «неподходящие» для чтения гимназистов. А мы их припрятывали наравне с литературой нелегальной — революционной.

Та же популярность Щедрина сохранялась и в студенческую пору (80-е годы). Это было время, когда едкая сатира у Щедрина стала давать место реалистическому изображению жизни. «Пошехонская старина», которая печаталась в то время, выпукло рисовала гниль и разложение крепостнического общества, оставившего нам в наследство вместе с нелепым самодержавием всепроникающее холопство и печальную отчужденность от народа и массы. С глубоким интересом мы читали в «Вестнике Европы» мелкие рассказы, а в нелегальных изданиях сильные своей беспощадной иронией сказки, в которых так легко угадываешь и живых людей, и действительные факты.

Когда в 1886—1887 гг. Щедрин начал часто болеть, мы, студенты, тревожно следили за его болезнью. Была отправлена к нему студенческая депутация с выражением нашего уважения к нему и с пожеланием выздоровления. Щедрин, больной, с обычным своим суровым видом, принял депутацию, но видимо был тронут сочувствием студенчества, благодарил.

Неоднократно в разные годы моей жизни я возвращался к чтению Щедрина: и в тюрьме, и в ссылке, и в годы общественной работы, и в последнее время, когда хочешь осмыслить опыт своей жизни... И всякий раз я находил и нахожу большое удовлетворение в этом чтении. И оглядываясь в далекое прошлое и оценивая в прошедшем перед моими глазами революционном движении не только сублимированную диалектику социальных сил, но и глубоко проникающие психические моменты, создающие революционное настроение и революционную психологию, без которых не бывает и революции,—я укрепляюсь в мысли, что произведения Щедрина много содействовали тому, что у меня, как и у моих сверстников и товарищей, развивалось и крепло революционное настроение. «Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей». Нельзя стать революционером, если не носить в сердце своем печали и гнева. А у Щедрина в его сатире было так много сильного, беспощадного, заражающего и увлекающего за собой гнева. Но не только сатира и гнев. У Щедрина находишь и скрытый идеализм, который становится все более и более ясным по мере того, как вчитываешься в осмысливаешь его творчество. Поэтому его меткая, бичующая, гневная сатира не умирает с временем, но остается сильной и живой, пока пороки власти, самодурство, холопство, пошлость и низость продолжают жить в человеческом обществе.